

# Аудитория «ЛГ»:

## ЗАПИСКИ ИЗ ЗАЛА

Марина КУДИМОВА

# ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ, ГОСПОЖА ЦИТАТА!

Письмо из Тбилиси: «Прочла довольно старую книгу Вацура и Гиллельсона «Связь умственных плотин» (издана в 1972 г.). Прочла из-за дочки — ей надо было подготовить доклад на тему «Пушкин и царская цензура». Читала и смеялась, как над рассказами Жванецкого: такая в сравнении с нами тишь, гладь и божья благодать! Теперь все видится совершенно по-другому. Маль только, что никто не смеется, святы и начеки и концы. Но я понимаю, что может, и рано об этом говорить: такое на нас свалилось, требуется дистанция, чтобы увидеть иную правду...»

Письмо из Мурманска: «Я понимаю, зачем, но не могу не спрашивать: за что? За что врали, головы морочили? За что считали такими недоумками, что не находили нужным хоть какое-то подобие соблюдения? Человек попробовал дать свою версию о Пушкине, а никто не хочет версий, — все так смирились с мифами, так привыкли к памятникам, если бы Пушкин ожил, его бы опять бронзой залили и на пьедестал подняли...»

Письмо из Тамбова: «Я вот, Марина, думаю: как ваше поколение здорово начинало! А потом вас как будто в какой-то раствор окнутили. Годы идут, книги выходят, вроде все нормально, а вы и в новой ситуации «никто, ничто, и звать никак», уж ты извини за резкость...» Четвертая «челобитная» была подана изустно, но неожиданно реюмировала поданное в письменном виде.

**М**Ы СИДЕЛИ с, так сказать, младшим современником и беседовали... о гласности.

Младший иронизировал, что, дескать, откомментированная гласность — как бутерброд с запиской, на которой начертано: «колбаса». Я огрызалась, что спасибо, мол, и на том. Тогда младшенький свернул: «Вы обходились усеченной цитатой, а теперь получили развернутую. Вот и вся разница».

Передо мной распахнулся былинно-троичный путь: согласиться, обидеться или возгордиться. Моя молодость пришла на пиковый час мифологии культуры. По мере мифологизации происходило усечение культурного сознания. Вот, скажем, литература. С изобретением Гутенберга ее главным субъектом стала книга. В сознании, усеченном репрессиями, идеологической подгонкой и монополюющей государством дозировкой книжной продукции, субъект постепенно сузился до цитаты. Этой единицей текста научились манипулировать с такой ловкостью, что одна и та же цитата, поставленная в разные слои единственной концепции, делала чудеса: меняла контекст целой эпохи, влияла на время и пространство, на биографию человека и поколения, убивала и воскрешала.

Власть культуры подменилась властью над культурой, и культуртрегеры влились в мощные ряды конвоя, защищающего интересы трудящихся путем уничтожения тех и других. Щепки, летевающие от усечения субъектов культуры, создавали вынужденно лоскутное восприятие, и по кусочкам разной величины и формы уже нельзя было составить цельную картину. Это порождало комплекс неполноценности, то есть обиду. Но это развалило и антропологические способности и побуждало воссоздавать облик по берцовой кости (очень редко — по черепу). Уникальность ситуации внушала гордость за причастность к таковой.

Теперь пришла пора соглашаться. Книга как субъект присутствовала внутри культурного процесса, сопровождала его и взаимодействовала с другими субъектами. По сути она могла уступить, отстать и вовсе выпасть из связи. Место за ней не было закреплено, и эта подвижность поддерживала динамическое напряжение. Но как физическое истощение делает пищу самоценной, так духовная дистрофия превращает книгу в фетиш. И я лично с трудом этот фетишизм преодолеваю.

Слово книга я тем не менее употребляю как некий знак. Речь может идти о произведении любого жанра, взятом отдельно, но также и о творчестве в целом. Речь обо всем, что больше цитаты — не обязательно по объему, но по культурно-историческому впечатлению, по уровню присутствия и качеству взаимодействия. Однако и слово цитата не означает выдержку из текста, к которой принято прибегать как к обоснованию и подтверждению мысли — своей или авторской. Я имею в виду искусственно созданную единицу, подменяющую текст и избыточную его полисемью. Книга помогает восстано-

вить культурный фон, цитата ликвидирует его, оставляя мысль нагой и безопорной. И в дальнейшем нет необходимости прибегать к разъяснению, что речь идет не об афоризмах из Грибоедова.

Особенность советского опыта состоит в том, что расширить цитату до книги всего несколько лет назад не было ни малейшего шанса у большинства населения самой читающей страны мира. Можно, конечно, набросать скетч о системе читательских ухищрений — от самиздата до повального возврата из библиотек, но мне не хотелось бы свести проблему к культурной стагнации последнего времени.

Дело в том, что система цитирования как принцип коснулась и того четкого очерченного круга авторов, которые не подверглись «чистке». Культура — мистический организм цивилизации, как церковь — мистический образ религии. Здесь взаимодействуют не только физические величины, и присутствие здесь может оказаться отсутствием («будете искать Меня, а Меня — нет...»). Под разделку в мясном ряду аппаратного литературоведения подпали и те, чьи изображения не выламывались из иконостаса, и продажа шла дифференцированно: филиальные части — «своим», субпродукты — «чужим». Выверенной цитатой становилась сама судьба художника с бессрочным мандатом классика.

Вот, например, Чаадаев Петр Яковлевич. Разве этот автор, которого мы не имели в культурном обиходе до 1987 г., не служил поневоле записным оппонентом и аргументом в споре? Парой цитат, выпяченных из недоступного Гершензона, бросали западники в «любобусов», а те валялись их томом «Лит. наследия» 1935 г. (!!!), где допечатали недостающие письма князя Шаховской, будто для этого уцелевшей, несмотря на надежное прошлое. (Князя уничтожили через четыре года.)

Вот, например, Пушкин Александр Сергеевич... Спиной чувствую, как нарастает за ней напряженность. Но разве история с прогулками СП РСФСР «нашим всем» по спине редактора «Онтбэра» не свидетельствует в пользу моих предположений?

Поневоле доходя своим умом до многого при духовной «самоокупаемости», я и прежде, до «Колымских рассказов», предполагала, что условия южной ссылки не были чересчур бесчеловечны. Я и до ознакомления с рассказом А. Наймана о том, как он с приятелем пробивался в архангельскую глушь на день рождения, и И. Бродскому, кощунственно сомневался в ужасе михайловского заточения (янюшка Пушкина очень любила). Но теория относительности никогда не действовала на корифеев литературоведческой науки. О, если бы я вовремя прочла «озорные частушки» Абрама Терца! Вовремя, ибо теперь они, добренные соусом ненависти, выдаваемой за любовь к их герою, уже не вселят воображения. Я получила бы почти наверняка противоядие от снадобий «железных пушкинovedов», вызывавших в лучшем случае легкий тонус, в худшем — тяжелую аллергию. Да что мечтать о несбыточном!

Биографический миф о «солнце русской поэзии» слепил самых беспристрастных. Известное дело, первым врагом поэта было самодержавие — извечный враг всего живого и, главным

образом, передового. Самодержавие воплощал царь — монстр на троне. Он-то Пушкина и погубил. Он так был рад его погубили, что немедленно оплатил немалые долги и назначил пенсию жене и детям. Царь вообще был человек мрачный и эстетически глухой. А то, что Пушкин писал о нем стихи и в письмах друзьям признавался в личной к нему привязанности, так это он был вынужден делать, чтобы сласти «Современник»... Цитата ведь хороша тем, что ее при необходимости можно выслупить. Так, с выпусками, при общем сговоре на ущербность школьной программы, мы и изучали литературу, формально не сметенную «могучим ураганом» с библиотечных полок.

Царя окружали приспешники, среди которых супостатом № 1 был цензор. Этот тип доделывал то, до чего у царя руки не доходили. Он окончательно отравлял поэту существование. Вспомни хотя бы стихи Некрасова о старике рассыльном, который корректуры «носил к Александру Сергеевичу», а тот его «попрекал все цензурою», бранил «дурраком» (мог бы с пожилым человеком и погуманнее!) и кричал: «Эта кровь проливается!» Причем в учебниках все представлялось так, что цензура была придумана специально против русских писателей-революционеров, цвела буйным цветом именно в России и именно здесь играла такую роковую роль, что вообще непонятно, как у нас хоть что-то осталось для потомков. Во всяком случае, я ни разу не слышала упреков в адрес папы Мартина V, заведшего этот институт аж в начале XV века.

Совсем недавно я прочла рассказ о цензуре (о цензуре — прелесть беллетристики!) Красовск. Этот распухший тип то и думал, что о своих ишечных отправлениях (сведения почерпнуты из его интимного дневника). Что уж говорить о том, что литературу он ненавидит, ни уха ни рыла в ней не смыслит, а Пушкина готов собственной рукой задушить! Такая концепция была выдана уважаемым изданием в один год с воспоминаниями Н. Мандельштам, подробно, в двух книгах, повествующими, что бывает с поэтом за не те стихи. Но этот рассказ — явное свидетельство, что преодолевать стереотип вспять непросто, что «расчитывание» — процесс болезненный. В подобных случаях лично меня выручает привычка к дедуктивному историческому методу. По нему обманам и протопыкам освобожден от общей цензуры в 1826 году. Естественно, в адрес «высочайшего цензора», принявшего поэта с рук на руки, выпускаются шпильки всех калибров. Но простые прикидки приводят к заключению, что в столь юном, по сегодняшним меркам, возрасте поэт обладал неограниченным литературным авторитетом, ибо только «История государства Российской» была подписана государем через голову цензуры. Простейшие же выкладки позволяют подсчитать примерно число ежегодных публикаций, не говоря о книгах и прижизненных собраниях сочинений.

Практика показала, что для обладания авторитетом не обязательно носить имя Пушкин — сойдет и псевдоним: скажем, Демьян Ведный. Но что может ПИИДУП РЕДИТЬ возникновение авторитета, вообще не публикуя написанное, ну, то есть НИ СТРОКИ, — такого, я думаю, цензор Красовский не воображал.

Что авторитеты заочные, списочные (как Кн. Мятлев) станут из читателей — вот это удивило бы и «высочайшего».

**М**ОИ ПАПА И МАМА в молодости были азартными. Они выставили несколько ночей с короткими обзорами в соседнем кинотеатре при полустительстве убогого соседнего сторожа и оформили подписку на полное собрание сочинений Пушкина А. С. Они пренебрегли цитатным уставом, ориентированным на хрестоматию.

Отрываясь от увлекательного чтения учебника по диамату, я иногда заглядывала в громозвон для убежденных читатчиков издание и непременно почерпывала оттуда какие-нибудь не предусмотренные программой сведения. На стр. 195 т. 1 я прочла послание цензору Бирукову, последнему после Красовского по осяно действующему при поэте сатрапу. Позднее, уже редакторствуя и имея возможность выбирать себе «стиха на муз», Пушкин с иронической нежностью поминал обоих. Хорошим пушкиноведческим тоном из «Послания к цензору» предписывалось употреблять строку: «Дней Александровых прекрасное начало». Она служила подспорьем легенде о том, как цари непрерывно обманывали ожидания продвинутого поэта. В целом же произведение предлагалось принимать как едуку сатиру на самодержавие. Апологам цитатного мышления всегда мешала такая сомнительная инстанция, как контекст. Его старались по возможности нейтрализовать либо намеренно выправить по административному разумению. Правда, иногда контекст видоизменялся не администрацией, а временем. И теперь как совершенно прочесанные читаются первоначально полунасмешливые строки:

У нас писатели, я знаю, наковы;  
Их мысли не теснит цензурная расправа...

Пушкин, с младых ногтей (а за ногтями он, как известно, следил) залочившийся, как известно, «умственные плотины», широко пользовался тогдашней формой самиздата — списками — и почел за лучшее это стихотворение пустить «налево».

Наиболее серьезно пострадавший «герой» послания — безусловно, Радищев. Цитата, касающаяся «первого революционера», для краткости, как сейчас помню, обрывалась на «рабства врага». Но, буквально не выходя за пределы того же стиха, написано, что тот же персонаж «цензуры избежал». И, очевидно, из-за предполагаемой неизбежности праздных вопросов: кто, да что, да почему? — этот фрагмент отщепился во всех учебниках. И несчастье, программа филологических факультетов была продумана не до конца, и нам приходилось заглядывать в тексты современных Радищевых. Из уст фонзавинского Стародума, например, я узнала, что Екатерина «сняла с рук писателей оковы и позволила везде охотникам заводить вольные типографии, дабы умы имели повсюду способы выдавать в свет свои творения». Я, конечно, не обратила бы внимания на такую беспардонную комплиментарность, да и тому же обязательному чтению подлежал только «Недоросль» (во обиходе же «Недоросль» к разоблачению взяла свое. Выяснилось, что «рабства врага» отпечатал в домашней типографии «липовый» экземпляр «Путешествия...» — без «поминовения жестокосердых» и займствованных «чуждих облых», которыми нас морили в школе и вузе. Морили, полагаю, пальцем на весь исторический фон эпохи, которого частью, а не главным событием являлась украшающая ее история с Радищевым. Представив в Управу благочиния, осуществлявшую в те поры «цензурный произвол», подмененный («который наг» — «на оном фран»), беспримолочный вариант книги, Радищев, таким образом, осуществил прецедент подлога, которым широко пользовались ему вслед литераторы позднейших времен, сильно снижая гражданский пафос своих творений в глазах власти предрешающих. К тому же Радищев создал и прецедент самоцензуры, заранее определив, что именно надобно убрать из книги, чтобы получить цензурный штамп, — и определил безошибочно, как задлгий соцреалист. Не было ли в возмездии, помимо «державного самодурства», еще и провинциального элемента? Героизма от писателя никто не требует, но ведь и обманывать нехорошо.

Ключевский назвал эпоху Екатерины «лично-конституционным абсолютизмом». В ее обиде на Радищева было много действительно личного, материнского: ведь крамольник вырос буквально на ее глазах и был выучен на ее средства. Конечно, правая рука не

должна знать... но и предательство было явным. Да и вольные типографии пришлось запретить во избежание дальнейших искушений. И нам ли, у которых еще полвека назад работали ОСО, клеймить женщину, только что пережившую страшный пугачевский бунт!

Да в просвещенной Франции всего за год до скандала с «Путешествием...» смертная казнь грозила всем, кто будет уличен в составлении и печатании сочинений, заключающих в себе нападки на религию или клонящихся к возбуждению умов, оскорблению королевской власти и колебанию порядка и спокойствия в королевстве. Тем не менее «бунтовщик хуже Пугачева» был помилован! Тем не менее еще сегодня целы и сохранены по меньшей мере тринадцать экземпляров собственноручно уничтоженного Радищевым тиража! Судите сами — не судите по знакомому ответственному времени. Для этого попробуйте хотя бы одолеть книгу, о которой идет речь. Только честно. От начала до конца. Ведь это произведение постигла, безусловно, плачевная судьба. Оно целиком стало цитатой. Им, нечитанным, размахивают, как журавлем, для подтверждения «ужасов царизма». Оно — в одиночку — призвано было заменить сложнейший этап истории отечества, который, по словам Пушкина, поставил Россию «на пороге Европы» (цитатами пользоваться я, кажется, научена). Впрочем, пока Пушкин опередил нас. Он прочел «Путешествие...» и счел необходимым записать впечатления от прочитанного. А в текст статьи «Путешествие из Москвы в Петербург» включил заметки «О цензуре», где, в частности, высказано мнение, что мысль, как и человек, должна быть свободна «в пределах закона при полном соблюдении условий, налагаемых обществом». Впрочем, цитировать Пушкина абсолютно безнадежно. Он существует только на уровне текста, где каждая мысль находится во взаимодействии со всеми другими. На то и гений. На Пушкина можно ссылаться. Прочитавшим что попросе В. Г. Дмитрия в книге «Скрывшие свое имя» («Наука», М. 1977) утверждает, что «резкие выражения по адресу «Путешествия...» («его преступление», «безумные заблуждения», «весьма посредственная книга», «варварский слог» — выдержка В. Дмитриева) Пушкин употребляет в статье «Александр Радищев «с явной целью задобрить цензуру». Вот бесподобный пример цитатной практики! Значит, Пушкин хорош, когда отрицает симптомы рабства в русском крестьянине. На случай, так сказать, хороши! А остальное можно выпустить. Или объяснить далеко идущими и плохо лежащими делами. Но если Пушкина следует читать с таким прищуром и такой оглядкой, как рекомендуют специалисты, то солнце сильно тускнеет.

— По себе мерять! — отрезал мой не проведенный на цитате собеседник. И вправду. Отчего же Пушкин, написавший «подцензурный» вариант статьи о Радищеве, не переписал его после того, как «материал» все же «не пошел»? В иных случаях он куда как заботился о мнении потомков. Почему не оставил два варианта, чтобы дать нам возможность лишний раз взрыдаться над бесправной судьбой словесности под пятой «самовластного злодея»? Но на такие случаи наверняка припасен какой-нибудь цитатный ответ. Ведь цитатное мышление не допускает никакой диалектики. И если высказать предположение, что Пушкин иногда опасался мнения тогдашних своих радикальных друзей больше, нежели «подстав» для будущих биографов, то как бы не пришлось созывать новый пленум!

Разговор о Радищеве — на ином, противноменлатурно-афорическом, уровне вряд ли состоялся бы, и приведи я мнение А. Тургенева, гражданина авторитетного, в том числе и для Пушкина. Он, называя Радищева «безграмотным», уже в 1821 году объяснял употребление этого имени в послании Вяземского Ключевскому — травителю Карамзина — конъюнктурой «патриотической дерзости». Меня, наверное, с опережением шлепнули бы именно этой цитатой из Вяземского: «И, обобщая ум Екатерины пылкой, она (зависть. — М. К.) Радищеву казнит почетной ссылкой», слова Тургенева приписали бы политической интриге, а я прочла бы письмо Карам-

зина, умоляющего оставить его в покое, и не ввязалась бы в бесплодную дискуссию. Мне ли не знать, что прокурорство ложе цитаты ни кою, ни головы ни пожалеть обрезать, лишь бы соблюсти ранжир. А вдобавок мне еще пустились бы Луначарским — о «верном сыне и ученике» революции...

Итак, в Российской империи, как во всяком цивилизованном государстве, осуществлялся контроль над печатью. Николай I переложил всю ответственность на цензора. Среди цензоров встречались люди разных достоинств, в том числе и не семи пядей во лбу. Но если взломать печать стереотипа-цитаты, можно обнаружить, допустим, фигуру А. В. Болдырева, ректора университета, крупного востоковеда, который отправлял по совместительству должность цензора, подписав в печать то самое философическое письмо Чаадаева, на которое Пушкин не послал ответа, чтобы не разжигать страстей. Болдыреву, человеку достойнейшему, история стала места. Чаадаев, сей Абрам Терц без Дубровлага, остался вполне риторическим «лыком» в строку собственной цитаты.

**Ц**ИТАТНОЕ, «закзавыченное» мышление — куда более дотошный таможенный досмотр литературного процесса, нежели цензура, власть которой простирается чаще всего в пределах одного произведения. На мой взгляд, персонафицированный, пусть и недотумканный, Красовский не так страшен, как недавний монолитный и кошмарный своей всемогущей призрачностью ГЛАВЛИТ. Оприходованная цитата реквизирует груз мысли, не подлежащий ввозу в границы духовного диапазона. Совсем недавно чуть ли не герои Гомера мерились кайлом Папки Корчагина. Вот, китати, еще пример книги-цитаты!

Казалось бы, сейчас только жить да радоваться! Но деформация, компрачкосовское выращивание в банке запретов, продолжавшееся десятилетия, не может выпустить пластику культуры в один год. Ситуация в культуре сегодня похожа на ситуацию в районном универсаме: берут, что дают, и всех размеров. Кому-нибудь да подойдет. Браком и пересортицей объявляются товары вполне добротные только потому, что вчера их предписывали носить. Воинствующая цитата не сдается, мимикрируя и выпячивая номинальную функцию: так, трехлопастной гидрой «новой волны» стали три совершенно разных поэта — Еременко, Парщиков, Жданов, чьими, заметьте, именами, а не произведениями пикируются критики. Да, эпоха контрабандного ввоза мысли, кажется, завершается. Но эпоха этики в нашей культуре еще не наступила. Цитатным литературоведением не могла быть создана почва, на которой добровольно и естественно, без репрессивных изъятий и включений, без пестрицидов и искусственного опыления уживались бы и произрастали «Как закалялась сталь» и «Котлован». Для того чтобы такая почва оказалась плодородной, необходимо прекратить сравнение, по словам К. С. Льюиса, «не явления, а ценности», перестать бить одного писателя цитатой из другого. До сих пор процветает полемика вокруг неизданных книг, которая не что иное, как тенденциозное, оторванное от контекста цитирование. Если критику сравнить с медициной, то она должна заниматься изучением, так сказать, анамнеза независимо от общественного положения и личных качеств «больного», независимо от того, что обывательское или начальственное мнение считает данью «болезнь» дурной и опасной для себя. До такой беспристрастности и объективности пока далеко. Конъюнктура сменилась с той скоростью, на которую горазда только конъюнктура, но не прихотливый ход процесса.

Я лишью себя возможности блестящей юмором и сверкнуть шлагой сатиры. Цитаты-лозунги, цитаты, внедряемые в сознание тоннами наглядной агитации («Коммунизм — это молодость мира и т. п.»), стали предметом творчества поэтов-авангардистов. Когда начинался великий перебор шкалы псевдоценностей, я радовалась, понимая и принимая этот очистительный, «ассенизационный», как констатируют апологеты авангарда, акт. Но, все более ясно видя, что из литературного приема обыгрывание цитат превращается в новую конъюнктуру, я лишний раз осознаю степень проникновения цитатной болезни в клетки творчества.